

*Екатерина Златогорнская*

## ПОДПОЛКОВНИК И ЕГО ЖЕНА

Моя мама, Нина, была дочерью подполковника, а моя бабушка, Ксения, была его женой. Подполковник умер задолго до моего рождения, и молодая бабушка осталась одна с двумя детьми: старшей — Ларисой, и младшей — мамой. Лариса всем рассказывала, что мой дедушка Андрей был генералом.

Дедушка не был генералом, но мог им стать, если бы был посерьезнее, как Сергушкин или этот Зимин, вот те умели угождать, выгадывать; умели выслужиться, а дед был гордый, скромный, разговаривал тихим голосом, никогда не садился в трамвае или троллейбусе, в магазинах терпеливо выстаивал длинные очереди и продавщицам говорил: «Будьте добры, пожалуйста». Но они не были добры.

Бабушка смутно знала ту первую часть его жизни, еще без нее. Кажется, он сбежал на фронт в сорок втором, в шестнадцать лет. Его отец к тому времени пропал без вести. За три месяца закончил ростовские радиокурсы, и его направили служить связистом в отдельный полк. Связистов обидно называли проволочниками, а умирали проволочники так же шустро, как и солдаты с передовой.

Уже позже, на сайте Мемориала, мы нашли его: Смирнов А. Н. — линейный надсмотрщик телефонно-кабельной роты, 248-й отдельный батальон связи. Бабушка в Музее боевой славы показала мне катушку, экспонат под номером пять, гигантский бочонок проволочных ниток в деревянном ящике с ручкой. Мы приехали туда в день рождения деда, шел снег: у бабушки растеклась под глазами тушь, она красилась только по особенным случаям, а у меня промокли ноги. «Ну и что, потерпи, не маленький, такой случай, в кои-то веки вышли из дома, а он ноги промочил».

В музее, кроме нас и экскурсовода, никого больше не было.

Бабушка разговаривала громким шепотом, чтобы экскурсовод услышала ее рассказ, но и не сделала нам замечания.

— Три ранения — одно он запомнил как смерть, — трагически шептала она на весь зал.

В декабре сорок четвертого его отправили восстанавливать прерванную связь на подходе к Будапешту. Его и еще одного из полка. Тот и по-русски толком не говорил. Имя такое странное. Омуля... не Омуля. Дед нес катушку, как рюкзак, — только не на спине, а на груди.

«Посмотри, вот видишь, номер пять, цифрам ведь я тебя научила. Это катушка. Ее нес дед. А Омуля нес провод. Вот на катушке намотан. Не знаю, почему все вместе нельзя было нести. Может быть, тетя знает?»

— Основные используемые связистами марки кабеля в предвоенные годы и в ходе войны, — неохотно вмешалась экскурсовод, женщина, закутанная в серую шаль, — полевой телеграфный кабель ПТГ-19 и ПТФ-7. Дальность связи была по кабелю ПТГ-19 — 40-55 км. А по кабелю ПТФ-7 — 15-25 км.

Она встала со стула и направилась к нам, паркет надрывно закрипел под ее тяжелыми ногами:

— Для прокладки кабеля через реку использовались рыбацьи лодки или плоты, на которых устанавливались барабаны с подготовленным кабелем. По мере размотки кабеля к нему привязывались грузила, затоплявшие и удерживавшие его на дне реки.

— Нет, там не было реки. Там были горы, — продолжала бабушка, — они нашли место обрыва, восстановили связь, но начался артобстрел, Омулю того сразу убило, а деда ранило в грудь и ногу.

Я смотрел в окно. Все смешалось. Обстрел и метель: косые линии снега разрывали черные точки пуль. Деда занесло снегом: брови, веки, губы, холодная декабрьская земля вцепилась в спину, и пули то далеко, то близко чирк-чирк по земле. Омуля давно заледенел, лежал белый-белый, будто ангел заморозил его своим дыханием. Ночью стрельба успокоилась, снег стих, открылось небо со звездами — разлука ты разлука, чужая сторона, никто нас не разлучит, лишь мать сыра земля.

Дед, наверное, смотрел на небо, как смотрел Болконский на небо Аустерлица (позже в школе нам предлагали выучить наизусть этот отрывок или отрывок о дубе, по желанию, я выбрал о дубе), Болконский думал — как тихо, торжественно, совсем не то, как я бежал.

Дед еще был жив, ходил под себя, моча и кровь смешались в ржавый лед. Он еще жил. Все та же земля под ним, и все то же небо над ним, то же, что и над Болконским, высокое, бесконечное, как же я не видал раньше этого высокого неба, как же я счастлив, что узнал его. А может быть, он думал, что ему только восемнадцать лет, а жизнь уже заканчивается, он вытянул короткую спичку. Так бывает. А мог вытянуть длинную. Мог бы жить и жить. Мог бы родиться на двадцать лет позже, война уже закончилась, Сталин умер.

Он никому не рассказывал, как воевал, только Ларисе. Ей тогда было пять или меньше. Он говорил — расскажу тебе сказку. Бабушка ее расспрашивала: ну что, плакал, нет, не помнишь? Но тетя Лариса ничего из этой сказки не запомнила. А моей маме дед уже ничего не рассказывал.

В госпитале пробыл больше двух месяцев. Потом снова фронт, закончил войну уже в Вене. Первым в части услышал по радиции, что война кончилась, хотел прокричать — но не мог, от волнения пропал голос. Товарищи его еще ничего не знали, а он один знал, и не мог с ними поделиться. Что? Что? Он написал на листке: *kapitulieren*.

Дожил. А мог не дожить.

Вернулся домой. Молодой, красивый. Руки, ноги целы. Голова тоже цела. Девки вешались. И бабы вешались. Вдовы особенно. Бабушке тогда было три года. Мать Мария — маленькая испуганная женщина — родила ее без мужа, о предполагаемом отце говорили бог весть что, даже то, что он — немец, и после войны они с бабушкой уехали из станицы. Своего у них ничего не было, только одеяло и сундук. Мать спала на сундуке, а бабушка на одеяле.

«Ничего хорошего я не видела в жизни, ментосов не ела». Экскурсовод поддакивала, они уже подружились, забыли о проводах и катушках — жизнь тяжелая, это я сейчас в музее в тепле сижу, а вы-то какого года? Я вас моложе буду.

— Баба, а что такое ментосы?

Мы возвращались домой из музея. Снег успокоился, и свеженаваленные сугробы уже начинали подтаивать.

Нет, я не помню, что она ответила. Может быть, эти так чаемые бабушкой деликатесы — белые мятные драже, впервые

произведенные в Германии в 1950 году. Бабушке в 1950 — восемь лет, а деду двадцать три.

Фотографии сохранили дедушку таким, каким он посватался к молодой бабушке — седой немолодой жених сорока лет. Три нашивки на военной гимнастерке — золотистая полоса, и две — красные из шелкового галуна над правым грудным карманом. Волосы на его голове росли неровно, на правой гуще, чем на левой. Как у тети Ларисы и у мамы. Уши без мочек. Видишь? Бабушка рассматривала фотографии с лупой. Только там он и остался, со своими ушами, твой дедушка. А вот здесь мы в Гаграх; а тут на концерте в парке, на третьей по счету от сцены скамейке: на бабушке светло-голубой сарафан, волосы завиты, я ему как старшая дочь, дед постарел рано, а здесь — пенсионер, надевал эту льняную кепку всюду... как она мне не нравилась.

После увольнения из армии дед по-прежнему продолжал жить по приказу, в шесть подъем, зарядка, брюки со стрелками, отглаженная рубашка, одеколон на висках, нарядный и опрятный шел на работу в гаражный кооператив, где работал бухгалтером, и там говорил: «Здравия желаю». Его любили. Две женщины, сотрудницы кооператива, приносили ему пироги и печенья, и он в обеденный перерыв кипятил чайник и пил с этими женщинами чай.

Он был высокий, бабушка на фотографиях ему по плечу.

Была еще одна фотография, военная, на ней дед — молодой крепкий парень с холодными голубыми глазами, льняной чуб надо лбом взвихрившейся волной, виски выстрижены, губы тонкие и твердые сжаты без улыбки, но в углах две ямки, скобки, смайлик — стоит в ватнике рядом со своей катушкой.

Таким его бабушка не знала.

Почти двадцать лет прошло после войны, когда они познакомились. Двадцать лет гарнизонной службы. Дед служил в составе северной группы войск в Легнице, затем в Западной Украине, в Яворове, откуда приехал домой в очередной отпуск. Стоял ноябрь. Мать велела починить крышу, дед работал на ветру, под дождем. Его продуло. Он слег.

— Пневмония, — вынес вердикт доктор.

Бабушка выписала направление в больницу старательным школьным почерком, сверяясь со шпаргалками из справочника терапевта. Дед заглянул в тетрадку, она покраснела. Так они познакомились.

мились. После выписки он ходил к доктору несколько раз и наконец решил пригласить бабушку на свидание. Станица маленькая, развлечений никаких, два раза сходили в кино, на танцы в клуб, дедушке было неловко, он не танцевал, выходил курить на улицу, молодые парни приглашали бабушку на медленные танцы, дед говорил — потанцуй, не отказывайся. Бабушка танцевала. К концу отпуска дед сделал предложение. Она не сразу приняла решение. Бабушке только исполнилось двадцать два года, она выучилась на медсестру в Краснодаре, и ее направили на практику в дедушкину станицу, на следующий год она собиралась поступать в медицинский институт. Дедушка казался ей старым. Она его стеснялась.

Я не сразу его полюбила, рассказывала она много раз. Когда он умер, мне и пятидесяти не было. Мне говорили, молодая, еще выйдешь замуж. За меня сватался Сергей Валентинович, помнишь его, ты не помнишь, маме твоей девятнадцать только исполнилось, тебя в помине не было. Но я не пошла. И ни за кого бы не пошла. Один муж на всю жизнь. А сколько годков хватило с мужем пожить, столько, значит, заслужила.

Дед видел разных женщин, офицерских жен, вдов. Они старели на его глазах. Одна из них была его любовница, семейная женщина доронинского типа: легкомысленная, торопливая, нежная. Такой я представил ее, увидев на общей гарнизонной фотографии. Дед любил иногда пересматривать фотографии в альбомах. Перечислял Ларисе всех поименно: «Справа в нижнем ряду — Дина Евгеньевна, как же она пела! И народные, и романсы». Лариса уже была взрослая, она обратила внимание на интонацию, сквозило в ней удовольствие, значит, хорошо с ней расстались, дед недолго страдал.

Я тут же придумал, как они с дедом предавались любви в его увольнительную, а после лежали на скрипучей кровати, Дина Евгеньевна пела, а дед целовал ее в шею, она смеялась — щекотно, не надо, клал ей голову на грудь, слышал стук ее сердца и наложенный поверх стука — звук ее голоса. Казалось, что под грудной клеткой едет поезд, и в нем поют что-то неразборчивое, какое-то тататата.

Давно, подростком, дед любил лежать на насыпи, прижав ухо к грунту, и слушать, будто внизу проносится поезд с красной советской звездой, выстукивая непонятную кардиограмму. Лариса

помнит, как дед рассказывал про поезд, про оранжевую пыль на щеке и ухе, как мелкие камушки, словно клопы, впивались в висок... а про войну нет.

О Ванде же ничего, кроме имени, известно не было. Однажды свекровь обмолвилась — любил мой сын до тебя одну полячку из Легнице, чуть не женился, и весь разговор. Бабушка не стала расспрашивать свекровь из гордости. Плечами пожала. А мне-то что? Но дедушке устроила допрос с пристрастием. Дедушка не отпирался, но о Ванде не рассказал. Ушел из дома на вечернюю прогулку, так завелось у них в периоды ссор, чтобы не разгорелось дальше. Бабушка возненавидела и Легниц, и полячек, и Марину Влади, чье лицо и тело обрела Ванда в бабушкиных, а заодно и моих фантазиях.

Подростком я прочитал рассказ «Лето с Вандой». Ванда из рассказа жила в ГДР, была влюблена в немецкого студента и хотела с ним венчаться в костеле в Познани, где они жили до войны, а студент, когда закончились каникулы, уехал и забыл Ванду. На всякий случай я спрятал журнал от бабушки.

— Все они потаскушки, — говорила бабушка, — после войны путались с нашими солдатами за хлеб и масло.

Бабушка напрасно ревновала к Ванде и другим женщинам. Они остались в прошлом. Те женщины знали войну. Они были поколотые войной, как чашки: кто-то пополам, кто-то со сколом, но все с изъяном. А бабушка целая. Она смотрела по-другому, спокойнее, светлее.

Дед тоже не сразу ее полюбил.

— Хватит выбирать, — сказала ему мать.

Действительно, хватит.

Они поженились за неделю до окончания отпуска. Выпивший приятель деда на их маленькой свадьбе — со стороны жениха всего несколько бывших сослуживцев с женами, все они казались бабушке старыми, мать и сестры, а со стороны невесты подруга Люся и медперсонал станичной поликлиники — сказал негромко, но бабушка расслышала: столько лет выбирал, мог бы и красивее найти.

Бабушка не то, чтобы была некрасива, нет. Она была обыкновенная. Русые волосы, чуть длинноватый нос, глаза то ли серые, то ли голубые, губы — обыкновенные, не пухлые и не тонкие, не то, чтобы их хотелось сразу целовать. Ноги чуть толстоваты. Самая

обыкновенная. Таких много. Но тот приятель не догадывался о главном. Бабушка была молодая, а молодость — начало жизни, и дед захотел начать сначала.

В Яворове они сняли комнату у Семы и Шурочки в большом каменном доме. Сема был начальником продовольственной службы, жили они с женой хорошо, сытно, и даже имели в прислугах беззубую Паську, старую деву семидесяти лет, с девичьей фигурой — длинные ноги, тонкая талия, и ходила она, как девочка, вприпрыжку. Молодость Паськи пришлась на поляков, и когда местные величали бабушку и Шурочку — пани, Паська пришепывала: «Да какие ж вы пани, вы колхозницы, а це ж — пани так пани».

Шурочка и Сема были евреи из Тирасполя. Шурочка с детьми успела эвакуироваться в Уфу, а все ее родные остались в Тирасполе и там погибли. Бывали дни, когда обычно неунывающая Шурочка выгоняла детей на улицу, запиралась в доме, и оттуда доносился вой. Шурочка отпирала часа через два, с суженными в щелочки глазами. Дети прошмыгивали мимо нее, не глядя.

Особенно Шурочка убивалась по старшей сестре Машеньке, редкостной умнице и красавице.

— Вот такие у нее были глазища, — Шурочка соединяла большой и указательный палец, — и вот такая коса!

Сама Шурочка была простенькая, с милыми ямочками на щеках, толстенькая снизу и узкая сверху, моложавая, несмотря на четверых детей и беременность пятым, а бабушка была беременна первым.

С беременностью в бабушке потихоньку заветривалась молодость. Она все больше уходила в себя, легко тревожилась по поводу и без, раздражалась.

С дедом они спали отдельно, она брезговала его близостью, избегала нежностей — поцелуев, объятий. Ты не умывался, от тебя пахнет махоркой, потом. Дед раздобыл перину и перебрался на пол. Бабушкино недовольство оборачивал в шутку: «Какая мама у тебя, Ларисик, сердитая. Мы не добираем ласки». Бабушка сердилась — не с Ларисиком, а Женечкой. Она так хотела назвать сына. Голубоглазого, высокого. Женечка — ласковое имя.

— Никудышный ты врач, даже простуду распознать не можешь, — ворчала Шурочка, просившая бабушку прослушать заболевших детей.

Бабушка оправдывалась: «Не врач, а медсестра, да еще без опыта».

— Тем более пропадешь, — Шурочка не унималась, — ни шить, ни вязать, ни стряпать, ничего ты не умеешь.

Бабушка по Шурочкиному настоятельному велению записалась на курсы кройки и шитья во Львов. Шурочка навязала ей в компаньоны свою восьмилетнюю дочь Марысеньку. Они садились за первую парту, как две школьницы, и Марысенька спрашивала бабушку: «Как будем кроить, сделаем реглан или втачной рукав?» Иногда Шурочка составляла им компанию, оставляя на Паську младших детей. Бабушка и Марысенька полдня учились, а Шурочка гуляла, ела мороженое у фонтана.

Однажды после курсов сторговали на базаре мужнино нательное белье, дед потел после туберкулеза и не поддевал под форму, а Шурочка продавала из выгоды, слишком уж жирно надевать одну хорошую вещь под другую. Денег выручили много, бабушка купила в магазине туфли с каблучком, а Шурочка по знакомству в универмаге помогла выбить детские ботинки на мальчика и кое-какую одежду, тоже на мальчика (бабушка не сомневалась, что родится сын), а себе купила отрезы, и бабушка, обучившаяся на своих курсах искусству кройки и шитья, состряпала Шурочке платье и даже пальто, отрезное по талии. Шурочка, раздобревшая после родов, в пальто не влезла и подарила его бабушке, тем более что дедушку переводили служить в Германию.

Деда провожали две недели. Каждый вечер накрывали праздничный стол. Сидели, разговаривали. Шурочка плакала. Сема все чаще выходил курить. Наконец, настал последний день службы, и к ужину Шурочка с бабушкой налепили пельменей, в один вместо мяса положили бумагу. Несчастливый пельмень попался Паське.

— Раз уж варилось, все съедобное, — и съела с бумагой вместе, втайне обиженная, что на ее долю пожалели мяса.

Сема пошутил: «Шурочка, ну тогда будем варить газеты, все равно выписываем их на всю зарплату по цене килограмма мяса». Но никто не засмеялся.

Тощий Сема не пил — язвенник, и дед не пил. Дед говорил: я выпью и зверею. Один раз, молодой был, напился и задушил котенка.

Марысенька с подружкой смотрели за Ларисой и крошечной Галочкой. В окна влетали их голоса, веселые, как жаворонки.



Ах, как не хотелось уезжать, хотя, казалось бы, что здесь хорошего. Дед в очередной раз вспомнил уличных мальчишек, кричавших ему вслед: «Москаль проклятый», — и бросавшихся в него камнями. Дикие, злые, голодные.

И все равно было жаль уезжать. Бабушка полюбила Шурочкин дом, черешневые, яблоневые, грушевые улицы, запах варившегося на мазанках в саду варенья, развешанное белье, трепетавшее от ветра крылами, пятничные и субботние вечера, когда до утра играли в лото и домино.

Под утро — дети уже давно были уложены, а мужья спали, — произошел обмен дарами. Шурочка вынесла бережно спеленатое пальто, зимы там продувные, тебе пригодится, примерь, ростом мы одинаковые, а бабушка, ахая, охая, пошла с козыря, принесла туфли, те, что покупала перед родами, и в которых, прихрамывая — туфли еле налезли на отекавшие ноги, — пришла рожать и получила тут же нагоняй от главной акушерки Юлии Аркадьевны, и больше уже не надевала, а куда их еще здесь носить, не по песку же. Шурочка туфли не взяла. Они еще сидели за наливкой, обнимались, плакали, как будто расставались уже сейчас, хотя бабушка оставалась ждать вызов до самой осени, если не до зимы. Лариса вскрикнула во сне. Бабушка очнулась — пойду. Дедушка держал проснувшуюся Ларису на руках, она прижималась к нему, от радости трепыхалась всем тельцем, словно рыбка. Солнце уже вселилось в комнату. Бабушка обвела ее взглядом: кровать у окна, рядом кроватка, швейная машинка под чехлом, зеркало, отражавшее стену, сервант, все свое, нажитое. Бабушка разревелась. Лариса тоже приготовилась.

— Ну что? Что такое? — спрашивал дед ласково.

— Телевизора у нас нет, — разобрал он фразу сквозь склеивающие слова плач. — Так и не купили.

Тот день, когда Лариса родилась, тоже был солнечный.

— Девочка у вас. — Юлия Аркадьевна вышла к деду в больничный двор, сели на скамейке, закурили. Она поинтересовалась, впрочем, вполне равнодушно: — Сына, наверное, хотели?

Он не хотел сына. Он хотел только дочь, предчувствуя, что та любовь, которую он искал и не находил, уже поджидает его, как кощеева игла. А бабушке хотелось сына. Она даже обиделась на Ларису, как будто та была виновата, и сохраняла эту обиду всю жизнь.

Вечерами дед мастерил мебель. У него были золотые руки, и в другой жизни, где не было бы войны, он мог стать плотником, тем более, он любил строгать, выпиливать — его лицо разглаживалось и он даже напевал: по диким степям Забайкалья. Лариса лежала в кровати, подтянув ножки к животику, и разговаривала на своем языке. Дед, не утерпев, брал ее на руки — ну зачем ты ее схватил, ругалась бабушка. Лариса прижималась к деду круглым маленьким лицом и так замирала. Дед боялся пошевелиться; когда Лариса отсоединялась, ее маленькое лицо было мокрое от его слез. Маленькая тетя Лариса почти не капризничала. Бабушка шила, а Лариса лежала подолгу на полу, на расстеленном одеяле. Бабушка накрывала Ларису газетой «Правда»: «Где моя панночка?» Лариса под газетой поднимала ручки и смеялась. В девять месяцев она пошла, в год заговорила.

В сентябре бабушке пришел вызов. В Москву добирались поездом из Львова. Сема с Шурочкой помогли погрузиться. Шурочка суетилась, всплакивала через секунду, Сема наставлял проводницу: «Ценный груз везете, гражданка». Обнялись, как перед расстрелом. Шурочка завыла. Поезд поехал, бабушка стояла за проводницей и махала рукой, даже когда Сема и Шурочка исчезли и вместо них потянулись унылые окраины города, и проводница строго сказала: «Зайдите в купе, здесь нельзя стоять, ребенка продуете».

В Москве их должен был встретить товарищ деда, о чем заранее уведомил бабушку телеграммой. Бабушка переживала, что не распознает его в толпе встречающих. Они ждали с Ларисой на перроне. Какой-то парень в гражданском подлетел, спросил фамилию: «Я так и думал, что вы. Мне велено было найти девушку и девочку».

— А разве вы Дмитрий Сергеевич? — не поверила бабушка.

— Я его сын, Павел.

Вот как? Закались сомнения. Вор? Шпион? Он сразу посадил Ларису на шею, как будто Лариса была его дочь, та довольно засмеялась.

— Какая дочурка у вас славненькая.

Лариса возвышалась над прохожими, как подсолнух над травами. Павел шел быстро, бабушка почти бежала за ним, и носильщик старался, вез тележку с вещами быстрее обычного.

Когда спустились в метро, Павел поставил Ларису на пол, взял чемоданы, почти прикрикнул — за мной, не отставайте, за мной, —

и бабушка следовала за ним, как Эвридика за Орфеем. Только у Эвридики не было дочери, а у нее была. Она уже не замечала, куда они идут: переходы вниз, направо, вверх, лампы на потолках — бледные мертвенные лилии, распустившиеся в аду, фрески на стенах, словно иконы в мраморных окладах. Бабушка от испуга не могла шагнуть на эскалатор. Павел с Ларисой уже поднялись, бабушка осталась внизу, улыбалась, и он тоже улыбался — я вам помогу, — но бабушка уже вскочила, крикнула: «Лариса, я еду». Он отозвался: «Мы вас ждем». Они ее ждали.

Наконец, вышли из тьмы на свет, спаслись. Рассмотрела: у него под скулами не гас румянец, словно на улице зима, мороз, а не солнечный сентябрь. Улица сияла. После бессонной ночи — от волнения просыпалась на каждой станции — бабушка чувствовала себя ослепшей и оглушенной. Машины, многоэтажные здания, это гостиница Аэрофлот, бабушка не все могла расслышать, что рассказывал Павел. Внутри стеклянного Аэровокзала почувствовала себя рыбкой в аквариуме. На первом этаже кассы овальным кораблем, девушки с блестящими ногтями пробивали билеты. Снова мелькнуло — а вдруг шпион? И следом обожгло: а ведь жизнь могла сложиться по-другому. Зачем она поспешила с замужеством, не надо было спешить, надо было остаться в Краснодаре, подать документы в медицинский институт, ведь она способная, могла бы пройти. Жила бы в общежитии. Одна комната на пять девушек. Она всегда так жила, с кем-то, сообща, еще со школы, это даже хорошо, что не одна. Устроилась бы на ночные дежурства в больницу, копила бы деньги, ходила в кино и на танцы, однажды собралась бы в Москву, и он тут как тут, душа моя Павел, держись моих правил.

Лариса непрерывно задавала вопросы: а что такое самолет, а как он летает, а мы из него не выпадем? Павел отвечал и посматривал по сторонам — бабушке казалось, что на молодых девушек за кассами, и ей это было почему-то неприятно.

У окон длинными рядами стояли серебряные макеты самолетов. Подходили люди и так просто выбирали места, как будто хлеб в магазине. Бабушка удивилась: «И совсем не похожи на птиц. Больше на рыб».

— На селедку похожи, — вмешалась Лариса, — нет, на дельфинов.

Павел поднял Ларису, под стеклом розовые и голубые кресла, показал: «Вы будете сидеть вот здесь». Лариса расстроилась:

«Я хочу на розовом стуле сидеть». Лариса коверкала слова, но Павел ее понимал. Лариса канючила — хочу то, это, бегать хочу, мне скучно, хочу есть.

— Пойдемте в ресторан, там очень вкусный ростбиф, я сюда иногда приезжаю обедать.

«Наверное, с девушкой приезжает», — подумала бабушка и представила эту девушку, высокую, в короткой юбке и на каблучках.

Ресторан был пуст. Только за одним столиком сидели стройные молодые девушки с подведенными глазами, с ними группа мужчин, все, как один, похожие на композитора Таривердиева. Они пили вино. Лариса разглядывала их, открыв рот: «Какие тети красивые». Бабушка хоть и в новых туфлях и пальто, подаренном Шурочкой, но стеснялась своей простоты, обстриженных ногтей, вспомнила станичных и яворовских женщин, у некоторых и обуви не было, свою мать, спавшую на сундуке, и отчима — школьного сторожа. Бабушке казалось, что девушки за соседним столом смотрят на нее и думают — разве це ж пани? Вот мы-то пани. Павел показывал Ларисе какой-то фокус, Лариса смеялась. Прилипчивая, неверная. Андрей так ее любил. Вдруг это не сын Дмитрия Сергеевича, а все-таки шпион? Пусть шпион, если с ним так радостно, так просто и хорошо.

«А может быть, и мы рислинга попробуем или шартреза? Лариса, будем шартрез?» Лариса громко смеялась: «Мама, что такое отрез?» Бабушка и сама не знала.

— Это ликер, очень сладкий, зеленого цвета, гадость несусветная, — объяснил им Павел.

— Детям нельзя вино, — испугалась бабушка.

Лариса опять засмеялась.

— Ксения Гуриевна, я шучу.

Официантка, нарядная и красивая — бабушке от испуга все женщины аэропорта казались недостижимо красивыми, — принесла меню с картинками, похожее на афишу цирка. Лариса ткнула пальцем: «Слон! Это слон! А это речка. А эта тетя голая».

Бабушка посмотрела на нарисованную загорелую девушку в красном купальнике и покраснела. С нескрываемым испугом она пробежалась взглядом по ценам, чай — целых 5 копеек, а во Львове — копейка. У бабушки от волнения свело живот.

— Лариса, даже не вздумай ничего просить, — шептала бабушка, — я тебе и пирожков взяла, и яйца. Почистить яйца?

— Ну какие яйца? Нет, Лариса, мы этого не допустим.

Павел стал зачитывать позиции, тут и севрюга, и осетрина. Бабушка перебила: «Мне только чай, можно даже с лимоном, а Ларе мороженое».

Павел позвал официантку: «Наташа, нам фирменных котлет из кур “Ракета”. Лариса, любишь котлеты?» Лариса кивнула. Ракета-котлета. Рыбную солянку, ромштекс с гарниром, рислинг, чай, мороженое и кофе «Космос». И компот из апельсинов. Ты, Лариса, наверное, никогда не пила такой компот. И я тоже не пила.

Принесли вино. Бабушка отнекивалась, но все же отхлебнула из бокала. Тепло и радость слились во что-то новое, неизвестное, легкое в голове и тяжелое в ногах. Немного поехал пол.

— Лариса, сначала котлеты, а потом мороженое, — с удивлением услышала она свой голос, существующий как будто отдельно от тела.

— Если рейс задержат или отменят, можно пойти в кинозал. Или в Третьяковку.

— А могут отменить? — испугалась бабушка.

Лариса поцеловала Павла в пробор волос. Что-то в нем было не так, как в муже, или Семе, или главном враче Николае Артамоновиче. Бабушка перебирала в памяти знакомых мужчин. Павел учился на архитектурном. Рассказывал бабушке, как древние греки строили Парфенон: «По окончании греко-персидских войн, в эпоху правления Перикла». Бабушка зевнула. Вам не интересно? Ну что вы, очень интересно. Лариса, ты знаешь, кто такая Афина? Нет, Лариса не знала. Это богиня. Богов нет. Сейчас нет, а раньше были. Глаза у него веселые. Смеются глаза — поняла бабушка.

Лариса категорически отказалась от котлет: «У меня горло болит, и тература, не хочу котлеты, только морозение».

— Тогда и мороженое нельзя!

— Как нельзя мороженое? Мороженое снимет жар, если его приложить ко лбу, — вмешался Павел.

Бабушка потрогала Ларисе виски, посчитала пульс: «Нет у тебя ничего».

— А у меня? — спросил Павел и протянул руку, горячей тяжелой ладонью вверх.

Бабушка удивилась тяжести. Как будто ее увлечение, такое легкое, вдруг обрело свой настоящий вес — его ладони.

— У вас вен почти не видно — Она сглотнула воздух. От волнения не могла сосчитать пульс, как глупо все это, надо было отказаться, а отказаться еще глупее.

— Ну что? — спросил Павел.

— Наверное, медсестрам тяжело ставить уколы в ваши вены.

— Пока не приходилось. Не знаю.

— Ну и хорошо. А температуры нет.

Бабушка облизнула сухие губы.

— Я тоже хочу, — попросила Лариса и так же, как бабушка, обхватила его руку двумя ладошками, — Нет теретуры.

— Значит, можно нам мороженое?

Бабушка сдалась.

Она смотрела на них и думала — а зачем я еду в Германию? Ей представилась длинная череда одинаковых дней, как очередь из хмурых не выпавшихся людей, они стояли за чем-то долго, безнадежно. Можно ведь не ехать. От этой мысли почувствовала освобождение, словно ее выпустили из плена, можно не ехать, можно идти на все четыре стороны.

Одна из девушек за соседним столом засмеялась, Павел обернулся на ее смех, улыбнулся в ответ.

— Мы вам не мешаем? — спросила девушка.

— Как такая девушка может мешать? Наоборот!

Бабушка хлебнула вино, рислинг показался кислым, и, чтобы перебить его вкус, бабушка глотнула кофе «Космос». Сморщилась. Лариса ела мороженое с ягодами клубничного варенья, весь рот измазан, две капли на новом платье. Бабушка расстроилась. Павел рассказывал Ларисе, что до самолета еще долго ехать на автобусе. Бабушка сказала: «Ну хоть так Москву посмотрим, никогда не была». Павел казался далеким, чужим. Зачем он мне?

Я жена офицера, утешала себя бабушка, вызывая из памяти разные нежные подробности семейной жизни. Ей хотелось снова полюбить деда. Его уши, широкие ладони со слабыми линиями жизни, не прочерченными до конца.

— Что вы же ничего не едите?

— Не хочу, спасибо. Волнуюсь, вдруг самолет задержится.

Разговор расклеился. Павел молча пил кофе. Даже Лариса поскучилась — когда мы пойдем вниз? когда автобус придет? — отвернулась от них, разглядывая без стеснения компанию за другим столом. Бабушка ее не одергивала. Павел складывал из салфетки самолетика. Подписал один: «Москва — Берлин» и нарисовал маленькую девочку.

— Это я?

— Ты, Лариса.

— А почему я без бантиков?

— Вот тебе бантики.

Бабушка рассмотрела, все-таки вернув Ларису на место, изящно сложенные ноги той девушки в тонких чулках.

Объявили автобус. Павел напомнил, как они будут ехать, что видеть по дороге, как садут в самолет, это совсем не страшно, ну если только немножко. Но бабушка все равно боялась.

— А я не боюсь!

— Ты, Лариса, самая смелая девочка из тех, что я встречал.

Официантке он сказал, что еще вернется. Бабушка поняла, ему понравилась та девушка, и он вернется из-за нее.

— Вот, — Павел положил ей в карман листочек, — здесь мой адрес и телефон. Будете в Москве, звоните. В цирк пойдем. Ну, дальше вы одни. Не бойтесь. Все будет хорошо. — И почему-то добавил: — Не война.

Бабушка пожала ему руку, а он наклонился и поцеловал.

— Что вы? — Бабушка испугалась.

Лариса громко засмеялась, как всегда, когда ей было неловко.

— Так и не посмотрели Москву.

— В следующий раз посмотрим, — сказала бабушка.

— Самолетик-то забыли. — Лариса хлопнула бабушку по поцелованной руке. Они уже давно ехали, поздно очнулись.

Когда взлетели, бабушке казалось, что они непременно разобьются, самолет остановился в воздухе, словно его загнали в небесный аэропорт. Лариса спала. Бортпроводница, красивая ухоженная немка с журнальным лицом (бабушка думала, что в Германии все женщины красивы, но оказалось, что не все, глаза водянистые, носы крючком, губы узкие, того гляди обрежешься) предложила игрушечную на вид бутылочку кирш-ликера. Бабушка отказалась, опасаясь, что нужно платить.

— Все бесплатно, — успокоила стюардесса и выдала красные махровые носки. Пояснила: — Вы можете снять обувь.

Ларису укрыли пледом. Тоже новеньким, свежешерстяным. Бабушка открыла одну бутылочку, глотнула ликера. Вспомнила Павла. Его лицо, румянец, темные глаза, как будто в морозном блеске солнца. Его руку и быстрый пульс. Его дыхание, шумное, свежее. И тут же вспоминала деда. Но дед, такой близкий, чье лицо и тело она знала в подробностях, никак не оживал в воображении. Он был как предложение в книге: подлежащее, сказуемое и ряд ничего не определяющих прилагательных — умный, добрый.

Красные носки согревали стопы с уже раздавшимися вширь суставами на больших пальцах. Самолет летел, преодолевая расстояния, и в то же время висел в воздухе, зажатый сверху и снизу облаками. Ничего не нужно делать, расслабьтесь, спите. Даже если самолет упадет, с вами ничего не случится, вы останетесь здесь, в небе. Красные носки согреют ваши озябшие ноги, ликер — душу, а облака — тела.

Носки, карамельки, маленькие бутылочки ликера бабушка сложила в большую хозяйственную сумку. Коричневые ручки из кожама держат хлопковый прямоугольник в клетку. Бабушка с ней ходила в магазин до самой смерти. Ручки облупились. Клетка выгорела на солнце. Где-то я читал, что выбранная сумка отражает душу своей хозяйки. Бабушкина сумка — домашняя женщина в халате и тапочках.

Когда она умирала, уже не могла говорить, только смотрела беспомощно, словно из окошечка уносящего ее самолета — земли уже не видно, только облака, — я вспомнил про эти носки, принес из дедушкиного офицерского чемодана, служившего бабушке сейфом, в нем она хранила письма, фотографии, все самое ценное, что приобрела за жизнь.

В них мы ее похоронили.

В Берлин прилетели ночью. Бортпроводница сопровождала бабушку с Ларисой по всем пунктам пропуска, помогла получить багаж.

Бабушка искала глазами деда. Но вместо него подошел маленький сердитый мужчина по фамилии Перцов.



— Вы Смирнова? — передал записку.

Бабушка не сразу прочитала, перескакивала со строчки на строчку, ничего не понимая. «Я простудился, отлежал в больнице, плеврит. Но уже восстановился. Ничего страшного, к вашему приезду все приготовлено. Электричкой доедете до Х., Перцов вас посадит, а там вас встретят и проводят до КПП. Люблю. Целую. Ваш папа».

Он жив? Перцов отвечал сквозь зубы, все время сморкаясь и плевываясь, не глядя на бабушку. Жив, конечно. Бабушка чувствовала, что не нравится ему и миссия эта ему в тягость. Бабушка ничего не понимала, как, куда дальше, но боялась переспрашивать.

В электричке бабушка достала из кармана записку с адресом Павла, несколько раз прочитала его адрес, написанный крупным веселым почерком, и быстро, словно за ней подглядывали, разорвала на мелкие кусочки.

Лариса запомнила, что на железнодорожном вокзале в туалете висела бумага и бабушка забрала рулон с собой. А в булочных были хлебобрезные машины, а в магазинах губки для мытья, ими мыли посуду, старые губки не хранили и покупали новые. Бабушка сохранила одну, мы нашли с Ларисой после ее смерти: новенькую, пупырчатую.

— Господи, — удивилась тетя Лариса, — губку-то для чего хранить всю жизнь.

Дед квартировался в двухэтажном щитовом доме, бывшем когда-то казармой, там селились в основном семьи молодых лейтенантов. Дед был вдвое старше их всех. Удобств в доме никаких: одна ванная комната на весь этаж, банный день раз в неделю приходился на четверг. Все остальные дни мылись в комнате. Дед приносил цинковые ведра с водой, утром бабушка нагревала воду кипятивником и купала Ларису в тазу, потом стирала белье, а потом мылась сама.

За углем к сараю КПП ходили за два квартала. И хотя дед приносил брикеты про запас, ящик от снарядов быстро пустел. Бабушке часто приходилось приносить уголь самой. Она втаскивала ведра с брикетами на второй этаж, растапливала печь, затем во дворе набирала воду из колонки, и снова с ведрами по лестнице, отмывала комнату от угольной пыли, руки, лицо. Но пыль все равно остава-

лась, все Ларисины чулочки на подошвах и коленях всегда были грязные. Комната быстро остывала, и утром было уже холодно. В X. было промозгло и сыро. Дед кашлял по ночам, как будто зажавевший пулемет. Бабушка просыпалась и не могла заснуть.

Утром дед уходил на работу, бабушка поднималась его провожать, он просил — поспи, родная. Она жарила ему на завтрак картошку, поливала яйцом. Или готовила овсянку, замоченную с вечера. Иногда бутерброд с колбасой. Дед завтракал с одним и тем же выражением лица — признательным и одновременно безразличным. Бабушка подумала, что если бы она не провожала его, не готовила завтрак, дед все равно бы говорил: спасибо, родная, все замечательно, — и уходил бы на службу.

Бабушка отводила Ларису в детский сад, и целый день оставался ей в распоряжение.

Во дворе дома укромно стояли стол, скамейка, казалось, что они никуда и не переехали, все говорили по-русски, молоденькие жены офицеров вышивали на пяльцах, вязали, сплетничали, особенно проходились по немецким фрау, дети играли в песочнице. Бабушка охотно участвовала в сплетнях, слушала, где можно купить то и это, консервы и крупу в «Военторге», а молоко и сметану лучше у местных в деревне, и, между прочим, высшему офицерскому составу выделяют квартиры в пятиэтажных домах, почему же вам тут. Бабушка ходила смотреть офицерский район — чистый, рядом парк, школа — потом грызла деда, тот говорил: а разве нам здесь плохо. Конечно, плохо. Каждый вечер пьянки, ссоры, песни. Дед говорил: «А что ты думаешь, ведь они молодые, им хочется жить».

— И мне хочется, — жаловалась бабушка.

Их тоже звали к общему столу, дед обычно отказывался. Но иногда они приходили на коммунальную кухню. Сидели со всеми, дед слушал пьяную болтовню, улыбался.

— А как ты думаешь, Николаич? — Его спрашивали о каких-то гарнизонных делах, о которых бабушка даже не подозревала, дед ей ничего не рассказывал, она и не спрашивала. Ему не хотелось уходить, хотелось сидеть, разговаривать, но бабушка зевала, ей было скучно, и он скоро прощался: «Я спать, я старый, а вы веселитесь».

Во время очередного застолья лейтенант Зотов приревновал жену Марину. Они познакомились и поженились здесь в Х. Марина работала официанткой в офицерской столовой. Бабушке она не нравилась. И другим жиличкам тоже. Марина любила выбирать жертву, впивалась в нее страстным взглядом. Зотов каждый раз свирепел. Драки ждали уже давно. В этот раз Марина вцепилась в новенького, пухленького сержанта, тот тоже не сводил с нее глаз. Зотов не выдержал, схватил Марину за волосы и три раза стукнул головой об стол — Марина завизжала, лицо в крови, и блузка тоже в крови, сержант и Зотов дерутся. Лариса проснулась, плачет: тетю убили.

Утром бабушка сказала: «Мы уедем с Ларисой. А ты оставайся здесь, один».

Дед записался на прием к командиру гарнизона. Так они переехали на квартиру к Ольге Кирилловне и ее тихому плешивому мужу Алексею Ивановичу, заместителю начальника гарнизона. Они жили в большом пятиэтажном доме с центральным отоплением. На дубовой двери табличка с фамилией, когда-то там жило семейство Rigtengden, и блокнот с ручкой.

В коридорах на полах циновки, на стене часы с кукушкой. В туалете картины. Кухня с мейсенским фарфором с голубой росписью, бойлер с водой, мебель, выкрашенная белой эмалью. В столовой цветные фоторепродукции из журналов мод, трехстворчатое зеркало, широкая тахта с подушками. Бабушка думала, что вот так же устроит у себя в доме, когда будет дом.

Ольга Кирилловна была бездетной, избалованной, вставала позже двенадцати, мужа своего никогда не провожала на службу, принимала ванну по часу. Каждое утро делала завивку, на лицо наносила маску из простокваши — Ларису однажды вырвало от запаха, — затем в ход шли пудра, тени для век, карандаш для глаз.

У нее был роскошный халат: черный с серебряными мелкими цветами, японский, шелковый. В нем она ходила до обеда, после облачалась в коричневые бархатные брюки и блузу.

Ольга Кирилловна тщательно скрывала свой возраст. Бабушка гадала: сорок? шестьдесят? У нее было гладкое лицо, и только по рукам можно было понять, что Ольге Кирилловне есть, что скрывать. Она умела готовить, сервировать стол, одеваться. Бабушка млела перед ее барской изнеженностью и ни в чем не могла от-

казать, ассистировала ей на кухне во время приема гостей, ходила для нее за покупками, в аптеку.

Ольга Кирилловна поначалу боялась Ларисы. Порвет, испачкает, приглядывайте за ребенком. Но скоро привыкла. И даже давала посмотреть Ларисе свои украшения: трофейные открытки, фотографии.

— Это моя бабушка, похожи мы с ней?

Лариса смотрела, сравнивала — похожи.

— Хорошая девочка, послушная, — хвалила Ольга Кирилловна Ларису. Но бабушку наставляла: «Больше не рожайте. Хватит вам одной. Дети всю кровь выпивают. То болеют, то капризничают. Жить надо только для себя».

Алексей Иванович Ларису, чаще всего, просто не замечал, но иногда спрашивал, хорошо ли она учится, много ли задают в школе. Бабушка вмешивалась, что до школы еще далеко, но Алексею Ивановичу это уже было неинтересно. Он приезжал домой за полночь, а рано утром водитель уже ждал его на улице. Ольга Кирилловна по мужу не скучала.

Дедушке Ольга Кирилловна не нравилась: «не женщина, а заливное». Бабушка при Ольге Кирилловне менялась, копировала ее томные ленивые интонации, но выходило смешно. Ольгой Кирилловной надо было родиться. Она экономила себя во всем, особенно в чувствах. Ее как будто ничего не тревожило, не волновало. Бабушка вечерами жаловалась деду на Ольгу Кирилловну: «Мы, семья из трех человек, живем в одной маленькой комнате, самой неудобной во всей квартире, сырой, угловой. А они с мужем в двух — двадцатиметровых. И вообще она со мной обращается, как с прислугой». Дед говорил: «А что же ты вьешься вокруг нее хвостиком?» Бабушка замолкала.

Ольга Кирилловна достала оттуда-то учебники по медицине. «Ксения, это вам мой подарок, повторяйте. Профессию терять нельзя».

Несколько раз выезжали с Ольгой Кирилловной за город, она просила бабушку составить ей компанию, дед был против, но бабушке нравились их поездки, и он нехотя ей разрешал. После обеда за бабушкой и Ольгой Кирилловной приезжал водитель мужа. Бабушка садилась на заднее сидение, Ольга Кирилловна впереди. Ехали молча. Ольга Кирилловна не любила разговоров. Проезжа-

ли черешневые сады, так напоминавшие Яворов, тот белый весенний мир прошлого. Ольга Кирилловна просила остановить машину, подышать воздухом:

— Как странно, что в этом мире была война.

Ольга Кирилловна закуривала. Она курила немецкие сигареты «Кабинет», бабушка переводила на советские деньги, шесть рублей пачка.

— Витя, только не говорите Леше, — просила она водителя, — воздух какой, дышите, Витя! Вы целый день взаперти в машине.

Обедали в одном и том же гаштете, его держали муж и жена, немцы. Жена была толстая, у нее не было переднего зуба.

Ольга Кирилловна пила шнапс, бабушка повторяла за ней, но ей самой больше нравилось пиво, и она стыдливо просила: «Я хочу пива взять. Вы не против?» Приносили пиво в бутылках с отбитым и тщательно отесанным горлышком, служившими кружками. Ели ромштекс с кислой капустой и жареную колбасу. Заходили местные, стучали кулаками по дереву, приветствуя завсегдатаев, смотрели на бабушку жадным, как ей казалось, взглядом, она краснела, ей было приятно. После выпитого у Ольги Кирилловны по лицу пятнами растекалась краснота, затрагивая и кончик носа. Она становилась разговорчивой.

— Леша привез из Берлина подарки, мне достались чулки. Я их не носила, брезговала, — рассказывала она бабушке, — А его матери — перчатки и зонт. Привез детскую кроватку. Мы ее повсюду возили, но так и не пригодилась.

Ольга Кирилловна научила бабушку играть в скат. Играли вместо денег на пуговицы. Третьим игроком приглашали дедушку — без тебя никуда, Андрей, — садились за большой стол в комнате Ольге Кирилловны. У нее пахло увядшими розами и валерьяновыми каплями. Ольга Кирилловна раздавала карты: настоящие, немецкие, на них были нарисованы бубенчики, сердечки, листья, желуди. Лариса ничего не понимала — задний, передний, как будто они играли в автомобильные педали. Дед был задний, раздающий, играл с азартом. Бабушка неизменно проигрывала. Ольга Кирилловна, как победитель, забирала полный мешок пуговиц.

— Играли бы на деньги, уже купила бы себе фольксваген, — любила она повторять, желая спокойной ночи.

Иногда, когда дед не мог придумать причину для отказа, ходили на праздники в офицерскую столовую. Бабушка надевала одно и то же платье, шифоновое, в мелкий цветочек, сшитое еще в Яворове, по той яворовской моде. Ольга Кирилловна качала головой: «Надо бы, Ксения, вам обновить гардероб». Свободных денег не было. Дедушка не замечал устаревших фасонов, ему было все равно. Бабушка заворуженно смотрела, как танцуют, как мелькают голые ноги в туфлях-лодочках разных цветов, ей очень хотелось танцевать, но дед не танцевал, и она смиренно сидела с ним рядышком. Когда они возвращались домой, отпускали Марию Филипповну, уборщицу из столовой, приглядывающую за Ларисой, и ложились спать в общую кровать, она чувствовала, как внутри вспенивается злость, и выговаривала дедушке то одно, то другое, все больше вскипая, доходило до черте чего: зря она согласилась выйти за старика. Дед ничего не отвечал. Отворачивался. Бабушка шла на кухню. Ольга Кирилловна уже спала, ложилась рано, сэкономила жизнь и молодость, из ее комнаты разносился бодрый приплясывающий храп, к нему присоединялся дедушкин, тяжелый, плевритный, одышливый. Бабушка думала: «Два сапога — пара».

Ольга Кирилловна собирала фарфор. В гостиной стоял высокий шкаф, запертый на ключ. В шкафу, за стеклом, фарфоровый мир: бабочки, слоны, дети. Мальчик с зеленым шарфом вокруг шеи играет на гармошке, а у его ног ласкается щенок; медведица с двумя медвежатами, у медведицы грустный сосредоточенный вид, детвора около ее лап с белыми, как будто не покрашенными брюшками; олени и оленята; мальчик и собака — он в голубой блузе, держит рожок с молоком; танцующие негрityта в чалмах; кавалеры и дамы во власти любовных дум; девушка на пляже в белом купальнике на белом полотенце, облокотилась на золотой мяч, читает книгу. И особенный предмет бабушкиного вожделения — балерина, высоко вверх вытянувшая пухлую розовую ножку, щиколотка, обвязанная лентами пуантов, тоже розовыми, румянец на щеках, пепельные волосы, убранные в пучок, палевое платье, у груди розы. Бабушка млела от ее красоты.

Ларисе не разрешалось подходить к шкафу строго-настрою, но когда Ольга Кирилловна уходила по делам из дома, бабушка заводила ее тайком в гостиную, ставила на стул. Лариса не

могла удержаться и трогала стекло руками. Бабушка тщательно оттирала стекло полиролью, выговаривая Ларисе, что больше никогда, больше никогда, Лариса, ясно тебе, но не сдерживала угрозы, ей самой нравилось рассматривать фарфор, и она представляла себя то дамой в платье и парике на скамейке, то девочкой, то купальщицей.

Балерина же была особенно мила. Лариса повторяла за балериной, вытягивала ножку, оттопыривала губку. В универмаге, в отделе посуды, бабушка увидела точно такую же и потеряла покой. Попросить деда было немыслимо, бабушка откладывала деньги и на Новый год принесла ее домой. Декабрь был бесснежным, холодным — до универмага на трамвае и оттуда на трамвае, от остановки пешком пятнадцать минут, прибежали домой холодные, с розовыми румянцами. Поставили на всеобщее обозрение, на сервант.

— Лариса, ну если разобьешь!

Лариса даже заплакала от несправедливости подозрений.

Ольга Кирилловна готовилась к торжеству, начальство ожидало особенный ужин в Доме офицеров, она вошла в комнату в лимонном платье, плечи закрыты, на талии черный тонкий пояс, губы в яркой помаде, немного затекшей в морщинки над верхней губой.

— Вот! — бабушка метнула гордый взгляд на сервант.

Ольга Кирилловна не сразу догадалась в чем дело:

— Ну, милая моя, это же такая простенькая вещица, такое меццанство. Мне Алексей Иванович подарил, я не знала, куда деть. Сказали, я бы так вам отдала.

Начался июль, а с ним тяжелая душная жара. Дед плохо себя чувствовал, сильно потел, ночью все надрывнее кашлял. Бабушка тоже чувствовала себя больной. Она нервничала, злилась. Плакала без повода. Ездила одна за город, и даже заходила в гаштет одна, без Ольги Кирилловны, заказывала любимое пиво, но оно казалось прокислым, жареное мясо воняло, как и все люди вокруг, постоянное чувство тошноты грызло желудок. Неужели беременная? Она ничего не говорила деду о своих подозрениях. Страх был неотступным, изредка его заглушало отупение, приятное, тяжелое, точно сон после обеда. Бабушка чувствовала, как новое сознание, еще не проснувшееся, не совсем человеческое, поглощает ее саму: мысли, желания. Однажды ночью страх за будущее, а с ним усталость и

тоска стали так невыносимы, что бабушка расплакалась. Она плакала тихо, себе одной в подушку, но дед услышал, проснулся.

— Что с тобой? — растревожился дед. Ему было, что скрывать, и он испугался.

— Ничего.

— Наверное, я сам тебе должен был рассказать.

Тут пришел черед испугаться бабушке:

— О чем?

Они говорили шепотом.

— Меня скоро переводят служить в Туркмению.

— Как? Почему тебя? — Бабушка вскочила с кровати.

Дед лежал, совсем старый в свете луны:

— Ксюша, тише! Ларочка спит.

Лариса и правда крепко спала.

Дед позвал: пошли, прогуляемся. Они вышли на улицу, сели на лавочку. Светало. Но фонари горели. Бабушка, отревев, грызла ногти, дед курил в сторонке.

— Ты что, сумасшедший? Тебе же нельзя с твоим плевритом.

— Я знаю, Ксюша. Только в редких случаях.

— Не кури, меня тошнит.

— Почему?

— Я беременна.

Перед отъездом в Тахта-Базар Ольга Кирилловна подумала и открыла свой заветный шкаф. Лариса, выбирай. Лариса выбрала фарфоровую девочку с корзиной клубники. Бабушке Ольга Кирилловна предложила волка, а та хотела бабочку, но не решилась попросить.

Дары упаковывали в варежки и свитера, как и кофейный и чайный сервиз, и молочник с пастушкой. Вот и все сокровища, и еще губка для мытья посуды, как потом выяснилось, сувенир.

Ольга Кирилловна обняла Ларису, сморщив лицо в преддверии слез, все-таки шестьдесят или семьдесят, подумала бабушка. «Я к вам привыкла. И девочка у вас такая тихая, такая послушная. И муж. Пишите». Бабушка обещала писать.

На станцию Тахта-Базар добирались на грузовике от Кушки. Бабушка на переднем сидении вместе с Ларисой, дед в отсеке, стоял



январь, и ветер, холодный и мокрый, бросался в стекла песком. Бабушка мерзла, немели пальцы рук и ног, дорога казалась бесконечной. Всю беременность бабушку мучил токсикоз, и в пути тошнота наваливалась на всех ухабах. Водитель останавливался, бабушка не успевала спуститься, ее рвало на ступени — ничего, ничего, она вытирала рот. Будущая жизнь казалась адом: Азия с ветрами и песками, одна девочка на коленях, другая в животе, и пожилой муж. Она и сама резко подурнела во время беременности. Тусклое, нерадостное лицо в пигментных пятнах, толстые руки, ноги, беременный живот, ни сесть, ни наклониться. Остановите, пожалуйста. И снова рвало, уже пеной. Лариса, не смотри, Лариса не смотрела.

Приехали. Дом щитовой на три семьи. Во дворе стояла деревянная лодка на случай наводнений, год назад смыло двухэтажную школу.

— Как при Ное, — мрачно шутил дед.

Бабушка ни на кого не смотрела, слабо улыбалась — это Лидия Васильевна, просто Лида, это общая кухня, это летняя, да вы так не расстраивайтесь, хорошо живем, весело, Петя, скажи.

Дед сказал: «Где эта Средняя Азия, шинель продувает».

Бабушка не сразу распаковала свои фигурки, не сразу смирилась с настоящим, ей все казалось, что они ненадолго и скоро уедут, почему-то особенно хотелось в Яворов к Шурочке. Лида и Вера были хорошие, молодые, младше бабушки, обе еще бездетные, и Лариса пропадала у них целыми днями. Бабушка лежала в комнате, ничего не хотела, ни о чем другом не могла говорить, кроме как: универмаг, булочные, аккуратные немецкие деревни, в местных продуктовых магазинах можно было купить сыр, молоко, сосиски, их бабушка отваривала в целлофановой шкуре. Как встречали Новый год в офицерской столовой стекляшке, офицеры кричали «Ура!», хотелось плакать от счастья, и как трамвай по кругу, и бабушка заходила, держа беленькую крепенькую Ларису (которая, когда выросла, всегда красилась в брюнетку, и все уже забыли, а была беленькая-беленькая, и как тебе шло Лариса, зачем таким черным красишься — это не черный, это шоколад), и сидели около окна, а одна старая фрау сказала им с Ларисой: свиньи. И бабушка позвала полицейского на остановке, он вошел: в чем дело? Фрау вывели. Я устала, на что мне такая жизнь, я хочу умереть.

И дедушка, как всегда, когда чувствовал что-то сильное, не мог пошевелиться, смотрел на нее непроницаемым взглядом. Бесчувственный, из железа сделанный, старичье. Бабушка кричала, а он молчал.

В конце марта родилась раньше срока моя мама. Легкие не раскрылись, и мама не заплакала. Бабушка спросила: «Почему не кричит?»

Реанимировали дыханием рот в рот, время шло так долго, что бабушка успела подумать — умрет, ну и ладно, мне же будет легче. Она не хотела этой смерти, боялась ее больше всего, но все же успела подумать.

Синее тельце в белой смазке, словно в сливочном масле, вокруг него спины, не кричит, мелькнуло красное там в белом и холодном, от красного пошло тепло, это раскрытый рот.

— Она кричит! — сказала акушерка, и бабушка заплакала.

Маму положили дозревать под лампой. Бабушка дежурила около той двери.

— Иди, ложись спать, — уговаривала нянечка.

— Нет, она там одна.

Когда не было слышно плача, бабушка каменела, а вдруг умерла, и опять перед глазами синий комоч, непонятно, ребенок или ком теста. Когда маму вернули, крошечную, худенькую, словно общипанного цыпленка, бабушка боялась вынуть ее из пеленок. Но когда мама присосалась к бабушкиной груди жадно, накрепко маленьким ртом, огромная жалость заполнила все ее тело, как прилив заполняет дно реки после засухи. Это была любовь.

Бабушка просыпалась среди ночи и смотрела со страхом на мамино маленькое лицо: на едва обозначенные брови, нос с младенческими прыщиками, ушки в маленьких волосиках.

— Господи, — просила неверующая бабушка, — только не отними ее у меня. — И вставала на колени, сорок поклонов, так ее научила мама. Клади сорок поклонов в два-три ночи, в это время Бог грешников слышит.

Дед просыпался и смотрел на бабушку, кланяющуюся в темноте неизвестно кому, комната была без икон, и ему казалось, что она молится маленькой маме, как Богородице.

Бабушка распаковала фигурки, расставила на комод: волк, балерина, девочка. Жизнь входила в колею.

Бабушка устроилась в детский сад медсестрой, чтобы быть поближе к маме, ее мучил постоянный страх за нее. Лариса ходила в школу. Дед на службу. Летом ездили в отпуск в Анапу, а потом к матери и сестрам деда. Бабушка не любила его родню, а они не любили ее — мать и три сестры, трудолюбивые, честные, скучные, целыми днями делали замечания Ларисе и маленькой Нине, укоряли бабушку молчаливыми взглядами, бабушкина стряпня всегда была недосолена или пересолена. Андрей, разве тебе вкусно? Сестры так и не вышли замуж. Вековухи. Ноги как лапти. Руки как лопаты.

Бабушка умышленно язвила: «Герман Иванович, краснодарский наш врач, шутил: не люблю два типа женщин — слонов и кенгуру». Деду было обидно. Все женщины в его семье были крупными. Мать — крупная, как сибирский дом, крепкая, рожала одного за одним. Выжили они четверо.

Бабушку они не полюбили, слишком мелкая, испортит породу. Дед по бабушкиному росту мерил елочки на Новый год. Какую брать? Как ты? Или повыше?

Так и вышло. Тетя Лариса и мама родились средними, чуть выше метра шестидесяти.

Единственный мужчина на три их жизни — брат. И тот им не принадлежал.

Неизвестно, ездили ли к матери бабушки и ее мужу-инвалиду. Лариса их не знала или не помнила. Но у бабушки в конверте без адреса несколько фотографий с материнной могилы, сделанные летом. Значит, ездила хоронить или навещала, а может быть, фотографию ей кто-то прислал письмом. Бабушка не любила вспоминать мать. Иногда проговаривалась: «Она грозилась, что подаст на алименты. Она думала, что если дед военный, то мы богатые».

«Дорогая Шурочка, ничего живем, слава Богу. Андрей целый день на службе, но дни здесь длинные, и вечером еще успеваем пообщаться.

Андрей своими руками сделал пристрой, типа веранды. Поставили стол, тент, пьем чай вечерами. Очень много комаров. Разгоняем пушкой. Раз в сутки проходит поезд Москва-Кушка. Ночью приезжает на лошади чановой, набирает воду и отвозит в те райо-

ны, где ее нет. С водой — беда. Вода тут грязная, темная, с песком. Отстаиваем, а потом уж пьем. Белье стираем в ящике для снарядов. Девочек купаю в ванной на кухне. Держу в большой кастрюле кур. Одна, Туркеша, такая красивая, сережки, как у цыганки. Цыплят воспитываем сами, учим их кушать.

Есть у нас кошка Фунька. Едим все свое с огорода: и петрушку, и огурцы, и даже виноград.

Андрей старше всех. Все его тут зовут дед. Как здесь зимой? Зимой холодно, развесишь белье, а оно замерзает. Топим печку. А летом жара поднимается до пятидесяти градусов. Боимся землетрясений.

Школа далеко, через хлопковое поле. Нина пошла в первый класс, туалет на улице, и Нина стесняется ходить. Пишут перышками, а ведь в Германии были такие чудесные ручки.

Андрей часто болеет, наверное, придется увольняться, ему уже не раз намекали, что надо дать дорогу молодым.

Иногда привозят фильмы, смотрим под открытым небом.

Очень понравилась картина ...»

Черновик так и не дописанного и, может быть, неотправленного письма я нашел все в том же чемодане, вместе с письмами Шурочки, они переписывались до самой Шурочкиной смерти. Уже позже, не в полном количестве, вернулись от Шурочкиной дочери письма бабушки.

«Дорогая Ксюня, — сообщала Шурочка в каком-то ответном письме, — наверное, скоро умру. Не снятся ни мама, ни тетя, а я все жду их. И Сема не снится.

А вчера ни с того, ни с сего приснилась Паська. Звала в гости, я к ней приехала, а она живет в Яворове в нашем доме, и там все так же, ты помнишь, конечно же, как там.

Она наварила пельменей, и все пельмени с газетой. Как вы меня, так и я вас. Значит, будет мне там трепка. Значит, за все мои страдания подадут мне там пельмени с газетой».

А дальше про болезни и цены.

Зимой дедушка страдал от ветра, а летом — от жары. Офицерская служба давалась ему нелегко, он достиг потолка — подпол-

ковник, больше ему не на что было рассчитывать, ему сказали прямо, что повышения не жди, за тобой здоровые, молодые, дай им дорогу. Однажды ночью деду стало резко плохо, днем отвезли в госпиталь.

Соседка по квартире сказала бабушке, когда та пришла с работы: «Ксюша, милая, сядь. Андрея Петровича больше нет». Бабушка не поняла сначала, что случилось. А когда поняла, вскочила, побежала в дивизию, ее отвезли на машине в госпиталь. Дед был жив. Лежал на том же месте у окна, читал книгу. А умер его сосед.

Дед, худой, заросший серой щетиной, как будто закутанный в солдатскую шинель, голубоглазый, с начинающими проплешинами, вдруг заплакал. Бабушка попросила: «Не плачь, пожалуйста. Не плачь. Тебе нельзя плакать». Почему нельзя? Он хотел плакать. Он заслужил это право.

После выписки написал заявление о выходе на пенсию. Думали, куда же теперь? Бабушка хотела в Краснодар, маячила мечта о дипломе врача, ей не было и сорока. Но дед заявил — он уже оплакал свое, успокоил совесть, явилась твердость и бодрость духа, я никогда не видел настоящей зимы. Бабушка тут же взвилась: «В Сибирь я не поеду. Я и так всю жизнь мотаюсь, как помело».

— Ну в какую Сибирь, Ксения?

Дед звонил за советом друзьям и сослуживцем. Один приятель звал к себе, у нас и зима, и лето, и город тихий, я тебе местечко найду.

Дед умер спустя десять лет после ночи за праздничным столом в день своего рождения. Праздновали громко. Приехали из станицы три его сестры, некрасивые, с водянистыми глазами, в черных платках, нарядились, как на похороны, и напороочили.

Сестры привезли из станицы грушу, пастилу — дед нюхал с тоской, сливами пахнет, детством — варенье из алычи, груши. Соленых уток. Изжаришь потом, Ксения. Три большие черные женщины. Краснодарские мойры. Они обнимались — дед уже полысевший, такой высокий для домашних, в их окружении казался маленьким.

— Что же ты не вернулся домой? Приехали черте куда, ни одной родной души вокруг, — завели сестры свою песню. — У нас и дом хороший, и матери могила.

Они привезли фотографии. Это отец. Последняя карточка перед войной, ему всего сорок два года было. Это ты у матери на руках. Дед рассматривал фотографии со слезами на глазах. Он был суровый всю жизнь, но к старости что-то сломалось, треснуло непробиваемое стекло, он стал плакать. Да, да... А это мама молодая. Красавица. Бабушка глянула мельком. Большая угрюмая женщина. Бабушка звала ее «Угрюм-река».

А из друзей никто не приехал. Ну это и понятно, в такую даль. Зимин отделался телеграммой, и Сергушкин, и Светлов, а Боков умер. Но пришли нынешние приятели из гаражного кооператива — Виктор Григорьевич, Светлана Петровна. Стол был заставлен. Бабушка старалась. Ольга Кирилловна, царствие ей небесное, научила бабушку всем премудростям кулинарии — и форшмак, и котлеты из щуки, и буженину, и торт «Наполеон». Пили много. Бабушка смотрела неодобрительно, всю неделю дед жаловался на боль в груди. Но дедушка бабушкино неодобрение старался не замечать, веселился, хотя, вспоминали потом, его что-то беспокоило, мучило, давило, и он рукой вот так гладил себя по груди, успокаивал. Он еще улыбался, когда говорили тост, и, улыбаясь, качнулся вперед и упал. Лицом в салат. Бабушка в эту минуту отлучилась на кухню подрезать колбаски. Только переехали в трехкомнатную квартиру. Две комнаты за ними, одна за медсестрой с бабушкиной работы. Но медсестра обещала комнату продать. Так что трехкомнатная вся будет наша, рассказывала бабушка, подрезая колбаску, а дедушка уже лежал лицом в салате, словно он был пьяным, но он не был пьяным, он был мертвым. И сестры в черном, как стражи смерти.

«Домой его звали? Не отдам. Так я и знала. За ним приехали. Живой он вам не давался, так мертвого хотите забрать». Она не со зла, не слушайте, оправдывали гости бабушку. Сестры поджимали губы. Приняли обвинение. Проглотили.

«И здесь несправедливость, и здесь не дали ему счастливо пожить». Бабушку держали за плечи, пытались усмирить. За что? Она безуспешно восклицала, выпрашивала — за что? За то, что не любила? Любила. Любила, как могла. А две его дочери рыдали. Лариса и мама. Худенькие, красивые. Лариса говорила — папа меня больше Нины любил, никто теперь так любить не будет. Они держались друг друга. Нина повторяла: как мне

страшно, а тетя Лариса дрожала, было холодно, шел снег. У них слабенькие пальтишки. И ничего не спасало от холода: ни рейтузы, ни сибирский платок.

Тогда, в сорок четвертом, он боялся закрыть глаза, он знал, что, если закроет — умрет. Сестричка наклонилась к нему, думая, что он мертв, но он дышал. Жив, этот жив. Он хотел сказать ей, что небо спустилось к нему. Он видел свое лицо, как будто смотрел откуда-то сверху, какой, оказывается, маленький человек, ему стало смешно. Небо накрыло его с головой. Оно пахло простым домашним запахом, стиральным порошком, домашними простынями. Это не небо. Его накрыли простыней. Поэтому он так боялся закрыть глаза. А теперь не страшно. Теперь все. Глаза закрыты. Чего волноваться. Его отнесли в другую комнату, потому что в первой еще был накрыт стол, и врача, приехавшего удостовериться смерть, пригласили почему-то к столу, выпить и закусить, и милиционера тоже, но они отказались. Деда положили на диван. Бабушка убрала простыню в цветках-колокольчиках с его лица. Они на ней спали. На этом диване. У бабушки часто мерзли ноги. Она клала ступни на его ноги. Отогревала. А теперь все. Никто ее больше не согреет. Его лицо было спокойно, на левой брови майонезный след, смочила палец слюной, убрала. Ей хотелось лечь рядом, но неразложенный диван был узким, она, сидя, еле умещалась на краешке. Бабушка обхватила его запястье, холодное, неживое, под большим пальцем лучевая артерия. И тогда, в тот момент, она почувствовала короткий и последний импульс, вышла жизнь, раз — и все. В дверь постучали, зашли санитары, врач. Деда положили на носилки, подняли, понесли.

...Его отец, мать, сестры, дочери, сослуживцы, мы все пошли за ним — подполковником и его женой.

